

Еще одна импровизация на ужасно старую тему

Вряд ли в тридцатых годах в Бостоне или Нью-Йорке местные *literati*, перелистывая переселившихся в Париж Льюиса, Хемингуэя, Фицджеральда или Паунда, задавались вопросом: одна или две американских литературы? Вопрос этот, увы, типично русский: там или здесь? хорошие или плохие? любимые или ненавистные? с нами или против нас?

Сомневаюсь в том, что стоит обсуждать сами истоки этой несвежей психологии. Да и скучно. Но кое-что сказать следует.

На мой, во всех смыслах сторонний, взгляд, вопросы подобные задают люди ощущающие литературу идеологически, а не художественно. Для одних Толстой это Анна Каренина, замечаящая на вокзале какие у мужа большие уши, а для других:

— Барин, пахать подано...

География имеет лишь одно отношение к слову — она одалживает бумаге свои приметы, свои горы и долины, изгибы рек, цвет неба, запахи садов, шум городов. Но русский прозаик, переместившийся из родных мест в заграницы, не часто пользуется новой географией и уж совсем реже — новым наречием. Сколько их было — языковых перебежчиков? Два раза по полчеловека, не больше.

В истоках же пристального внимания к покинувшим территорию часто лежат наивные мифы (йогуртные реки, шоколадные берега), порождающие обычную зависть и наше родное общенациональное не издохшее крепостничество: раб царя своего, раб страны своей, народа и т. д. На итальянца, свалившего из Катании в Нью-Йорк, его однокашники смотрят как на героя, россияне, (некоторые даже и ныне), на своего соотечественника, живущего в том же Нью-Йорке, как на изменника. Изменил общей доле, вере, знамени, делу. Толпе оставшихся.

Вообще чувство вины, я бы даже сказал принудительное чувство вины, в России в ходу еще больше, чем в Израиле (знаменитое американских евреев, почти учебное юмористическое пособие: *How To Make The Guilt Work...*). Человек виноват перед страной, что он не такой, каким страна его хочет видеть. Где еще (в Китае) человека перевоспитывали, то есть усмиряли навсегда? Чувство вины — основной механизм, позволяющий манипулировать человеком и массами в странах откровенно боящихся индивидуализма. И в странах страдающих агорафобией.

Но сузим тему. Русский пишущий человек (слово писатель после жизни в Союзе, где был Совпис, в котором были писатели, тошно выговаривать...), живущий во Франции ли, Англии или Штатах, большей частью шизик. За электричество платит в одной стране, даже голосовать ходит там же, а мыслями, фантазией, всем воображением — в другой, в той — оставленной. То есть русский литератор, кропящий свой акростих в деревне под Лондоном, на самом деле там не живет, а продолжает жить в России, как бы он её не любил-ненавидел. И не потому что полевая кашка, предгрозовое небо или звон трамвая на Тверском навсегда запретили воспринимать на равных местную изумрудную мураву, закаты над Темзой или треньканье дверного колокольчика. Российский литератор повязан своим прошлым, не опытом, а этой любовью-нелюбовью и ни на что другое отвлечься не способен.

И в этом смысле тоже — литератур всего одна штука.

У Элиаса Канетти в «Толпе и Власти» есть объяснение происхождения бунта: накопление на щеках ожогов пощечин; в какой-то момент начинается массовое их возвращение.

Вот и Иван Иванович, в мансардке на седьмом этаже, точнее в *chambre de bonne*, в комнатухе, где когда-то селили служанок, марает 378 страницу истории своей любви-

ненависти к Третьему Риму и, домарав, выходит на крошечную площадь с фонтаном и часами, совершенно ошалевшим: на плетенных стульях террас по кругу сидят аборигены, потягивая розовое провансальское, из открытой реношки вопит Пиаф и босой клошар с подбитым глазом, лежа под столбом с часами, читает разваливающееся карманное издание «Пиров» Платона.

Поди, врубись в эту, где живешь! Нет, голубчики, та далекая действительность, с пустырями, заросшими ржавой проволокой, с коммуналками и пивными ларьками, со стеклотарой и мордобоем, управдомами и участковыми, самой красной в мире площадью и т. д., та, по идее в прошлом прописанная реальность, эту с Пиаф и клошаром, пересиливает и будет пересиливать, и сочинитель не только это знает, но радуется этому плену, ибо прошлое ему интереснее, чем настоящее...

Не быть, отсутствовать в сегодня ему важнее, чем принадлежать календарю. Виртуальность его страсти, одержимость его вербализацией прошлого раздражают тот самый нерв, без вибрации которого он и жить бы отказался.

Мазохизм? И какой!

Не думайте о пишущих за границей, что они покинули территорию одной шестой! Вранье! Они лишь стали невидимками.

В том то и штука, что от России не избавиться, не перестать быть с нею, не перестать, если пишешь, слагать вертикально или горизонтально строчки о ней. Счастливую любовь можно забыть, но не — несчастную.

Но если все же говорить о двух литературах, то когда-то их и вправду было две. Та, которая откровенно прислуживала, или пыталась замаскироваться под лояльную, усидеть на двух стульях (под занавес эпохи некоторое количество *posterieurs* все же сместилось на второй стул — почти в оппозицию); другая же литература не сидела на двух стульях, а либо просто сидела, либо думала как бы не сесть.

История эта кажется многим старой, но людям свойственно заблуждаться. Россия — это страна, в которой ничто не забыто. Глядя на некоторых переделкинских старожилов, на то, как они ловко наловчились и в новые времена новые кормушки отыскивать, выдавая на гора всё тот же скучный бред, что и раньше, убеждаешься: прошлое в России прочно держит копирайт на настоящее...

Приятно однако вспомнить, что отечественная литература жила в замечательных заповедниках, в розовых гетто, в домах этого самого творчества и питалась не просто смородиновым киселем, а биточками по-пушкински... Скорее всего это и делало ее литературой, эти групповые поселения и групповое поедание котлеток по-грибоедовски. Все, что делается в этой стране коллективно, коллективным же сознанием не отторгается... Мандельштам в «Четвертой Прозе» на столетие вперед заглядывал.

Напоследок скажу, что все же литература — выдумка литературоведов. Нужно же им хоть с чем-то работать. На самом деле существуют (придётся выговорить!) писатели: плохие и хорошие, скучные и гениальные, ясновидящие и шаманящие... Рабы собственного опыта и мастера фантазии. И география у них одна — язык.

И в этой географии они могут уехать далеко-далеко, а могут так и сидеть там, где первое слово пузырем на губах лопнуло. Литература свершается в одиночку, в противном случае это — групповщина.

И застарелое желание перманентно выяснять кто с нами, а кто против нас, перманентно вести бухгалтерию своих и чужих, близких и далеких, желательно оставить околоточным в отставке да капитанам футбольных команд.

У литературы нет общего дела. Этим она и хороша. Те, кто говорят противоположное — мошенники; их имена сияют плесенью на наших скрижалях. Литература не должна никуда звать, она не ярмарочный зазывала. Литература не должна никого учить. Даже безграмотных.